

Винови я но вини стаям.
Но - благодарен, что не ново,

АНДРЕЙ НАУГОЛЬНЫЙ
ЕЩЁ ПОЖИВЁМ

Великие темы и судьям,
а также - "Франсе" Рублёва

Твой друг

стихи проза размышления

Андрей Наугольный Ещё поживём. Стихи, проза, размышления

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=33168639

ISBN 9785449078940

Аннотация

Книга Андрея Наугольного включает в себя прозу, стихи, эссе – как опубликованные при жизни автора, так и неизданные. Не претендуя на полноту охвата творческого наследия автора, книга, тем не менее, позволяет в полной мере оценить силу дарования поэта, прозаика, мыслителя, критика, нашего друга и собеседника – Андрея Наугольного. Книга издана при поддержке ВО Союза российских писателей. Благодарим за помощь А. Дудкина, Н. Писарчик, Г. Щекину. В книге использованы фото из архива Л. Новолодской.

Содержание

ВЕЛИКАЯ СТРАНИЦА ПИСАТЕЛЯ	5
НАУГОЛЬНОГО	
ПРОЗА	8
ОТ ИЗДАТЕЛЯ	8
ОТ АВТОРА	9
ПАСТУХ ИЗ КИФЕРОНА	12
СВИНАРНИК	20
ТРАССА	30
РАЙСКИЕ ТРАВЫ (ВАГОН-1)	44
МУСОР (ВАГОН-2)	52
ПОД ЗВУКИ ФЛЕЙТ И ТИМПАНОВ	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Ещё поживём

Стихи, проза, размышления

Андрей Наугольный

Редактор Наталья Александровна Сучкова

Корректор Нина Викторовна Писарчик

Дизайнер обложки FUNdbÜRO творческая группа

© Андрей Наугольный, 2018

© FUNdbÜRO творческая группа, дизайн обложки, 2018

ISBN 978-5-4490-7894-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВЕЛИКАЯ СТРАНИЦА ПИСАТЕЛЯ НАУГОЛЬНОГО

Считается, что писателю должно льстить, когда о нём говорят: «редкий», «неповторимый», «уникальный». Обычным быть скверно, нельзя. Но в случае с Андреем Наугольным и его прозой, наверное, будет честнее, если мы признаем, что всё в ней, с точки зрения русской литературы и русского писательства, очень типично: ужасная судьба, однообразие дней, сыровая прилипчивость быта, а выше – воображаемые миры мечтаний, красот, слов, желанные, но меркнувшие с каждым прикосновением, с каждым ударом судьбы-житухи.

Проза Наугольного воняет жизнью. И, кажется, он пишет об армии, потом о милиции, потом о прозябании на посту охранника. Вроде как подробная трудовая книжка, залитая портвейном и закапанная кровью, с нудными отступлениями на полях, с воплями к небесам, с падениями на землю. В этой сюжетной сетке – от новобранца-первокурсника к дембелю и сотруднику – должна быть, по идее, какая-то искупающая логика. И при начале своего повествования он идёт мерно, хронологически, словно и правда нас ждёт какой-то обычный «рассказ о судьбе», где за руку ведут от зачина к итогу. «Утро как утро. Обыденное, как вонь...» – оно настаёт

в каждом рассказе книги «ПМ». Порой к середине дня мизмы перебиваются спиртными парами, искры нездоровой бодрости охватывают существо героя, и мрачное отрезвление ждёт его мир, чтобы обыденное утро смогло вновь настать.

Но писатель Наугольный совсем не о том. Его страсть, его существо и метод – перепады языка, ритмы и приостановки, раскачка и обрывы речи. Может быть, даже мысли для него вторичны, не говоря уж о том, что можно назвать в его рассказах «событиями». Говоря, что в казарме пахло «мочой утраченных надежд и рвотной кашицей разочарований», он радуется красоте пришедшего на ум оборота, даже если красота эта отвратна на вид. Он идёт за языком, как за дудочкой.

В одном из рассказов Наугольного есть удивительное название для происходящего вокруг героя абсурда: «библейская похабщина». Оскорбительное соседство низайшего и высокого, напряжение такого перепада – это кремень и огниво его прозы. «Мыслящий тростник» в окружении сослуживцев, для которых «чтение книг... считалось занятием противоестественным, как педерастия».

Вернувшиеся с ночёвки «на сенных барках» герои, подобно Мармеладову, чинно рассаживаются в бытовках и на кухнях, дабы спросить друг друга о Боге, о смысле, о любви, но не найти их и вернуться к тому же. Кажется, они договаривают и никак не могут договорить все эти бесконечные круговоротные разговоры русской литературы. Всё уродли-

во, «всё, как в жизни, только наоборот». Но почему «наоборот»? Ведь эта сторона – как раз лицевая, «остатки разгромленного и деморализованного батальона» величиной с целый мир.

«Лишь впадая в отчаяние, я обретаю под ногами твёрдую почву», – говорит он. И это не о твёрдой почве в жизни, где он становится ментом «по недоразумению», где о себе можно сказать (якобы) иронически: «Всего в нём было понемногу, как в мусорной куче». Нет, это отчаяние непонимания, отчаяние обесмысливания, «где насилие – повивальная бабка гармонии».

Моделирование, воссоздание мира у Наугольного происходит с помощью языка, с помощью трений и несоответствий частей повествования, с помощью нарастания абсурда от начала книги к финалу, где детство, мрак настоящего, мечта и грязь уже чередуются и сливаются до степени не различения.

Своему сборнику он предпослал цитату из Миллера: «... необходимо искать Книгу, даже если в ней только одна великая страница». Поиски и попытки обрести эту заветную страницу и составляют суть творчества Андрея Наугольного. Как сказал бы другой знаменитый пессимист, Егор Летов – «заранее обречённые на полный провал». Но ведь никто и не обещал, что всё кончится хорошо. «Всё, как в жизни, только наоборот».

Антон Чёрный

ПРОЗА

ПМ (парабеллум Макарова)

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Книга прозы Андрея Наугольного «ПМ» вышла в Вологде в 2000 году. Она полностью приводится в этом издании, включая послесловие к книге, написанное Галиной Щекиной.

ОТ АВТОРА

Я уверен, что сегодня больше, чем когда-либо, необходимо искать Книгу, даже если в ней только одна великая страница; мы должны искать осколки, клочки, всё, что может воскресить тело и душу.

Г. Миллер. Тропик Рака

*Маленький писатель —
Это что за червь?
Ты таких, создатель,
Наплодил зачем?
Где добыть им славы,
Мир перевернуть,
Если сердцем слабы
И таланту чуть?..
В. Корнилов*

Далеко позади эти дни, но продолжается бессмысленная погоня. И вот, без всяких усилий: плац, каштаны, казармы, а там, за их кирпичными спинами – небо. Я пристально вглядываюсь в него, чего-то жду... Лето, июнь, утро. И небо, непроницаемое покрывало Майи, занавес, а тут, внизу – подмости. Два года – армия, её тугая плоть. Пока ещё чистый лист, начало...

...Спортзал учебного полка, осенние лица призывников. Всем грустно. Даже тем, кто делает вид, что им-то уж точ-

но весело. Ничего уже не исправишь. На крючке. Плотно. Но, как говорится: нет худа без добра. И мелькают, мелькают несбыточные идеи: а вдруг? А вот кривая вывезет! Но почему тишина? Когда же подъём? Что ж ты молчишь, горнист? Тишина, каштаны, казармы. Безжизненная равнина плаца. И ещё – небо.

Началось, не уследили. Казармы стремительно ожили. Всё сдвинулось. Построение. Роты, казалось, выпрыгнули на плац. Голые торсы, стриженные затылки, бессвязные выкрики. Искромётная магия порядка. Впереди – утренняя пробежка. И в один миг по дорожке, вокруг плаца – живой поток. Мы и не догадывались тогда, что это зрелище было пробным испытанием. Головы, тела, траурная кайма сапог. Нам предстояло влиться в этот чудовищный сгусток, заполнив собой имеющиеся там пустоты, раствориться... Алгебра обыденной жизни. Всё просто. Но как-то не по себе, в чём дело? А вот в чём. Тут уже не разум, тут чутьё! За всем этим – хаос. Без имени и лица.

Все прильнули к окнам, притихли, затаились. И в каждом – щемящее чувство одиночества, унижительная растерянность. Всего-то пробежка? Как бы не так – символ, тёмный знак грядущих бедствий. Тотальное поглощение, тьма. Вот откуда эта противная, ледяная дрожь и эта раскалённая муть, окутавшая глаза. Мне показалось, что я ослеп. На батальном полотне отсутствовала перспектива. Короче: здесь и сейчас. Лишь это. Устав, казарма, дисциплина. Изнури-

тельная пытка, провал, наркотик рабства. Нам предстояло стать низшей кастой. Мы – духи. Мистика. Нас – нет, есть только гордое величие Рима, чья сила и слава гремят сапогами за грязным стеклом...

Так и возникло моё писательство. Из боязни сгинуть среди этих бравых декораций, за пёстрым фасадом которых – лживое обещание подлинной жизни. Искусная приманка. Стоит лишь поверить – и всё, тебя уже нет. Тупик.

Да, я испугался.

ПАСТУХ ИЗ КИФЕРОНА

Страдания очищают душу. Хотелось бы в это верить, но не хочется. Не очищают, а вытаптывают, превращая цветущий некогда сад (если таковой, конечно, имелся) в футбольное поле в конце сезона. Так что поменьше бы скорби, пусть мне будет хуже, да исчезнут вовеки эти фильтры. Жаль, но это вряд ли, мы сами виновники своих несчастий. Всё-то у нас не так: благородные поступки похожи на преступления, милосердие отдаёт балаганом, благодеяния – злонамеренностью... И во всем этом отсутствует смысл. Виновник, не осознающий своей вины, не понимающий причин происходящего и угодливо ознакомленный каким-нибудь Порфирием Петровичем с плачевными результатами собственной деятельности, смахивает на сумасшедшего или близок к тому. Близорукость и даже слепота при постоянной готовности к действию – вот что нас губит. И только небрежный магнетизм искусства делает более понятной уготованную нам участь.

Жизнь обывателя, придумывающего себя и свой путь, как правило, мелка, так как протекает она в узких границах пространства и времени, полностью находится в руках судьбы и обстоятельства, как бурый от ржавчины железный ошейник раба, никогда не дающий вздохнуть полной грудью. Лишь немногие баловни судьбы могут похвастаться счаст-

ливой развязкой. Но велик человек, создающий из ничего – героя, иное бытие, неподвластное обстоятельствам и ударам рока. И если жизнь обывателя – это басня с нравоучительно-тривиальной концовкой, басня, написанная циником, то герои выходят к нам из хаоса, «как вышла из мрака с перстами пурпурными Эос». Мы видим их лица, слышим их речь, ощущаем тёплый запах их тел. И даже если они мелки и ничтожны, как окутывающая их действительность, то это ничего не значит. Они обладают той божественной законченностью, которая нам недоступна, тем смыслом, который делает реальной нашу маленькую жизнь, так напоминающую сон. И вымысел завораживает логику. Соврёшь – до правды дойдёшь. Вот истина, а вот история о человеке, который совершил, без сомнения, благородный, но крайне опрометчивый поступок. Мимоходом, из лучших побуждений, заглянув в чёрный ящик, он навлёк беду на целые царства, осквернил святыни, но остался незамеченным в этом яростном хохоте морей.

...Он вышел утром из дома, жалкой хижины бедняка. Где же ещё гнездиться добродетели? Он был простым пастухом. Ох, уж эти мне пастухи – и здесь нечто, претендующее на вечность и многозначительность. Пастыри и стада их.

Итак, он вышел из дома. Жена, наверное, ещё спала, или нет, жёны встают обычно раньше своих непутёвых мужей. Она встала, когда было ещё темно, развела огонь в очаге, напекла лепёшек, налила в кувшин немного козьего моло-

ка... Может быть, помолилась какому-нибудь богу. В разные времена и боги разные. Тогда было много богов. Суровых и не очень. Строгих и беспутных. Столько богов – ровно, сколько людей в этой чудесной, заманчивой, непостижимой – из нашего сегодняшнего запустения – стране. Как жаль, что эту причудливую заросль, населённую нимфами и наядами, прочими весёлыми существами, сменила нынешняя казарменная строгость форм с довольно примитивным содержанием. Дикое совершенство исчезло навсегда.

Итак, он вышел, возможно, дожёвывая на ходу свой скудный завтрак. А может, повеселев от доброго глотка вина, насвистывал задорную песенку. Или, наоборот, был мрачен и напряжённо думал о доме, долгах, о жене, которая так рано растеряла свою девичью прелесть. Трудно сказать. Во всяком случае, это был деловой человек, нет, лучше – человек при деле, то есть. Не бездельник, точнее. Уж не явный, ведь у него было стадо, о котором он заботился, и которое являлось единственным источником пропитания его семьи. Известно одно – человек этот был шустрым, любил позыркать по сторонам, впрочем, у пастухов для этого всегда есть время. Каким же он был из себя? Скорее, пожилым и почтенным, чем молодым и зелёным. Молодости свойственно легкомыслие и некое жестокосердие, а этот пастух не мог быть жестоким, иначе он не совершил бы того, что совершить ему предстояло. Вообще, это был цельный характер, который не дешевит по мелочам. Пастухи народ нелюдимый

и закалённый, им не привыкать к одиночеству. Они молчаливые и мрачноватые, уверенные в себе люди. Замкнутые, как вода у плотины в период дождей – к таким лучше не со ваться с ерундой, можно нарваться на неприятности. И так, он был пожилым, но ещё крепким, жилистым, с увесистыми кулаками. И ещё, наверно, счастливым, а что ему было печалиться: подозвал собаку, дал ей кусок лепёшки, прикрикнул на тощих своих овечек, посмотрел куда-нибудь в даль, и всё – полный порядок. Небеса чисты, на душе спокойно, боги мудры и благосклонны. Нет, пусть лучше боги будут заняты своим, не до того им, да и вообще. Свяжись с ними – мокрого места не останется. Так, пустота одна, как будто ничего и не было, но всё возвращается на круги своя, и шоу продолжается. Вопреки всему...

Короче: под ногами на траве лежал и плакал ребёнок. Маленькая, безобидная пташка с жалобно раскрытым клювиком. Сопливый, грязный, орущий... А может быть, радостно улыбающийся неведомому пришельцу, которого он – о, боги – уже признал за отца. Пастух испугался, пришёл в восторг, окоченел от изумления. Этот младенец, как выигрыш в кости, пусть даже скромный, наполнил его душу тихим счастьем. Ветренные боги не забывали его, он отмечен ими, они его любят, а это, это... говорит о многом. Хотя бы о том, что этот дар не стоит присваивать. Чтобы торжество от свалившейся внезапно удачи было более полным, ребёнка нужно

отнести царю. Царь страдает, боги наделили его бесплодной смоковницей, а отсутствие наследников, как известно, открывает врата в царство хаоса. Он будет рад подарку. И этот шанс, может быть, единственный. Пусть дар богов и их благосклонность к нему, простому смертному, соединятся с милостью царя, а милость обязательно будет, куда ей деться, царь отблагодарит его, своего раба, и отблагодарит, естественно, по-царски. И царская награда будет, в некотором смысле, переводом непонятого для него языка олимпийцев, их особого внимания, на обычный человеческий язык. Да и лучше не впутывать в эту историю олимпийцев, кесарю – кесарево, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Разделить дар с властями предержавшими – это ли не радость для непосвящённого. А мог бы и не так поступить, отыскав младенца, мог сделать его своим сыном или своим рабом, чтобы потом выгодно продать финикийцам на рынке в Афинах. Нет, так с дарами всевышних не поступают. Презрение олимпийцев, а затем неизбежная расплата, вот что ожидало его в этом случае. Дар – о, неизвестность – необходимо было переадресовать земному властителю, иначе ноша могла оказаться не по силам, а царь, он – избранник, ему и толковать с богами. Древние боги были ненадёжны, коварны и злы, доверия к ним не было, вот что. А что же это за боги, если им нельзя доверять? Так и сгнули постояльцы Олимпа.

Пастух, тяжело вздохнув, ещё немного постоял, подумал и отправился в Коринф, к царю. Он не ошибся – его прихо-

ду были рады, он был щедро награждён и вернулся в Киферон счастливейшим из смертных. Вероятно, закатил пир, напился и до поздней ночи рассказывал соседям, которым уже успел надоесть до смерти, о брошенном на произвол судьбы младенце, непонятной щедрости олимпийцев и царской милости. Спал он плохо, ворочался, вставал попить воды, ругал почему-то жену и уgomонился только на рассвете, когда побледнели в огромном небе всевидящие звёзды. А наутро он опять побрёл по холмам со своим стадом. Будущее было скрыто от его взора, да это было уже и не его будущее, продолжение этой истории его уже не касалось. Разбираться в тонкостях грядущего – дело царя, а не простого пастуха. Были бы овечки целы, здорова жена, дети, ясно светило бы солнышко, а остальное – для людей более искушённых в пророчествах, например, для Софокла, придумавшего эту историю. Где он её взял – подсмотрел ли, подслушал или просто знал от начала до конца? Олимпийцы часто наделяли неземным знанием своих избранников. Они любили посплетничать, им было лестно, когда кто-нибудь там, внизу, говорил о них, превратно истолковывал их волю, впадал в немилость и погибал. Они были тщеславны и не могли существовать, не привлекая к себе внимания. Радостные или скорбные вопли смертных разгоняли тоску и скуку в сердцах богов. Публика всегда в сборе, а значит, нужно только поднять занавес. И не беда, что смертные так непонятливы, и не в силах правильно истолковать волю мудрейших, всё

сделает случай, нелепый толчок, сдвигающий в места горы. А те пусть трепещут, возносятся, и раскаиваются, и сваливают всё на рок, который, как им кажется, правит миром. Чуткости не хватает им, всё-то они понимают буквально, поэтому так безжалостны к ним боги, оттого-то трудно и горестно живётся на белом свете.

А так ли это? Написал и задумался. Знаю, многие со мной не согласятся. Но все доводы любителей жизни мне известны. Пересказывать их тут нет надобности. Но, если на пути мотылька появляется огонь, то финал сей пьесы неотвратим. И ничтожный, жалкий случай может с лёгкостью (свет лампочки на веранде разрастается до огня, взывающего из бездны, или до злобного, тоскливого выкрика: «А гори всё синим пламенем!») довести дело до раковой опухоли, мгновенно возникшего бампера грузовика, неизвестно откуда извлечённой ржавой бритвы. Мы – мотыльки Вселенной, и хозяйка-судьба уже развела огонь в своей печи, дело лишь за горшками: один сейчас, другой чуть позднее. Вареву жизни должно кипеть. Если об этом не забывать, положиться на интуицию и жить, повинувшись велениям своего сердца, тогда очень сложно перестать быть человеком, а если повезёт, то можно увидеть Бога, ласкающего или карающего, чаще, конечно, мстящего, чей неистребимый свет рыщет в тёмной путанице наших душ и уносит их куда-то во вне, в ту чудную музыку, от которой так трудно и горестно жить на белом свете. И которую, конечно, слышат не одни трагические поэты, но толь-

ко им дано остановить мгновение и донести её до нас, простых смертных, бредущих по зелёным холмам рядом с пастухом из города с таким красивым названием.

СВИНАРНИК

Полковой плац был пуст. Асфальтовая равнина в кольце казарм из красного кирпича. Огнедышащий кратер июля. Римский цирк эпохи солдатских императоров. С самого начала меня угнетала беспредельность твоих раскалённых пространств. Между тем, жизнь в плавильне шла по распорядку. И не мифические боги, а повидавшие всякого на своём веку старшины, с красными от солнца и повседневного пьянства лицами, правили в этом жарком мареве. Гигантский муравейник деловито гудел. День был хозяйственный, суббота, а значит, и заботы у нас, образцового полка славных железнодорожных войск, должны были быть хозяйственными: тотальная уборка, мелкий косметический ремонт утвари и помещений, стрижка кустов и кое-что ещё. Об этом «кое-что» нам, взводу салаг, одиноко топтавшемуся в асфальтовом пекле, и поведал сержант Величко, человек основательный и ищущий подходы к нашей студенческой вольнице (взвод был укомплектован из первокурсников). Его прозвали «Макаренко» за странную тягу к растрёпанному тому «Педагогической поэмы», непревзойдённого воспитателя всевозможных беспризорников. Там он искал подходы. Боюсь, его ожидало разочарование. Он был краток:

– Горев, Бергер, вы поступаете в распоряжение вот этого... – и он ткнул пальцем в толстомордого прыщавого парня

в вызывающе заломленной набекрень пилотке, – ...бравого ефрейтора и направляетесь на подсобное хозяйство. Вопросы?

Для нас, духов, в то время даже ефрейтор был фигурой значительной, да и какие могли быть вопросы...

– Построиться, – не терпящим возражений голосом приказал ефрейтор (это двоим-то). – И чтоб у меня никуда. Гуськом.

И он, не оглядываясь, уверенный, что мы последуем за ним, с независимым видом зашагал к КПП. И мы пошли. «Пошли на дело я и Рабинович...»

– Ну, и досталась работёнка, – попробовал я заговорить со своим братом по несчастью, но, где там, он лишь печально хмурился.

– Отставить базар, – гаркнул ефрейтор. Своей широкой спиной он пытался заслонить от нас мир. И мы, идя за ним, вынуждены были всю дорогу созерцать какой-то гнусный нарыв на его бычьей шее. Неприглядное зрелище. Ефрейтор же, беспечно насвистывая, так залихватски чеканил шаг, что огненные искры летели у него из-под каблуков во все стороны. Подковки присобачил, идиот. Старый вояка. Весело было мне смотреть на нашего предводителя. Это был прирождённый свинопас. Деревенский пастушок. Ещё бы рожок ему и кнутик. И он научит нас зоологии. «Гремя огнём, сверкая блеском стали...» Он себя ещё покажет! О, рок, невидимый и потому пугающий своей зрячей слепотой, я знаю,

почему именно меня ты выбрал в тот злополучный день! Всё очень просто. Я был хреновый солдат, можно сказать, совсем никакой. И так думал не я один. Сам старший лейтенант Штырин, в просторечье – «Штырь», случайно оживший памятник, увидев меня на левом фланге при построении на строевой смотр, мрачно соизволил буркнуть сержанту Попову: «Откуда этот клоун? На неприятности нарваться хотите? И так смотреть не на что. Задвиньте его куда-нибудь». Задвинули.

Вот теперь на свинарник. Милое дело. А приятель мой заскучал. Парень как парень. Очки только великоваты, как Бруклинский мост. На фотографии который, естественно. Он был студентом физмата МГУ, закончившим первый курс этого элитного вуза. Мы не были близко знакомы. Военское братство не объединило нас в одну дружную боевую семью. Надо сказать, что ребята из МГУ сторонились нас, студентов провинциальных вузов. Видимо, для них мы были слишком простоватыми, слишком неинтеллигентными, слишком... Деревня-матушка, одним словом, мужичьё сиволапое. Но неразборчивая судьба безжалостно карала их за это. Они, аборигены столичных бульваров, были чужими здесь, и все это сознавали. Лица у них были не те. Опасное упущение. На улице как: морда, харя, мурло, рыло... У них же были совсем другие лица. Это их и губило. Белая кость, голубая кровь, гармония пропорций делали такие ли-

да излишне уязвимыми для тех, кто ждал от них безропотного подчинения. За такое лицо не спрячешься. Как на ладони. То ли дело восточный тип: могучие скулы, а на них, как на блюде, бесформенная груда теста. Вот и мне моя азиатская рожа пошла на пользу. Спасение тут в самой этой неопределённости, невылепленности, недоделанности. Поди угадай, что думает русский человек. Думает ли, а может, давно спит или умер. Русская физиономия – как русский пейзаж: бугорки, ямки, ёлочки, берёзки. Ни пройти, ни проехать. Вот тебе лицо человека. Лицо – чело... века. Личина – на личине. И лишь на Руси чело зачастую вынуждено спасать грешную шею от века. Но и для свинства хороши такие лица. Очень уж они свои. Свои – в доску, в бога, душу, мать...

Свинарник был непристойно огромен, как авиационный ангар, но вместо легкокрылых достижений человеческого разума забит он был клетками, где в вонючей жиже ворочались какие-то непонятные создания. Честное слово, я не сразу сообразил, что это вовсе не пришельцы из ада, а обыкновенные свиньи. Такие огромные они были, грязные и смотрели на нас крайне неприветливо своими маленькими и, почему-то казалось, подловатыми глазками. Обидно – как бы я ни хлопал в партере, всякий раз оказываюсь за кулисами. У Бергера тоже был жалкий вид. Звали его Вадимом. Ну, что ж, привет, Вадик! Мутный свет загаженных ламп создавал впечатление подводного царства. Ефрейтор в этом аквариуме считался знаменитостью. Свиньи обрадовались ему, как род-

ному. Окинув нас неприязненным взглядом, он невозмутимо сказал:

– Ну, что, интеллигенты паршивые, нравится? Здесь вам не в библиотеке. Чтоб всё было сурьёзно и без смехов. До обеда чистите клетки. Униформа (грязные и застывшие от дерьма подменки) и лопаты вон в том углу. И смотрите, у меня не сачкуют, для тебя говорю, жидовская морда, – он лениво сплюнул и неторопливо покинул поле предстоящей битвы, с силой захлопнув за собой дверь.

Крутой мужик. Свой среди скотов.

– Гитлер тоже был ефрейтором, – заметил Бергер.

– Совсем очумел от жары. Влип, очкарик! – невесело откликнулся я, закуривая сигарету.

Я не хотел его обидеть. Но он всё-таки обиделся. И мы замолчали. Нехорошее это было молчание. Что-то невысказанное мешало даже махать лопатой. Бергер мрачновато косился в мою сторону. Очки его неприступно блестели. Чего-чего, а злорадства не было в моём высказывании. Надо было заступиться. Нет, Бергер понимает, что ефрейтор – не единственный ефрейтор в этом полку. Высказать сочувствие. Но он такой же дух, как и я, а не институтка. Ясно было одно, что Бергер хотел, чтобы я ненавидел ефрейтора. И проявил это. Но я жил среди подобных типов, бывали и похуже, поэтому особой ненависти я к нему не ощущал. Подонки подонками. Их неприязнь была взаимной. Мне

здесь не было места. Не доказывать же ему, что я не антисемит. Поэтому, оставив рефлексию, я занялся вплотную своим грязным делом. Свинкам это не понравилось. Своим звериным чутьём они довольно быстро сообразили, что мы не те, за кого себя выдаём, то есть, из числа не посвящённых в их безобразную жизнь, а потому эти твари не только не проявили по отношению к нам ни малейшего гостеприимства, но с преувеличенно свирепым видом даже бросались на нас. Особенно доставалось Вадиму, у которого и так всё валилось из рук. А что поделаться, если они любили ефрейтора. Я решил не суетиться, считая маловероятным, что сей доблестный воин будет благодарен нам за наши труды. Самому бы ему вручить лопату. И то спасибо, что ушёл, не стал над душой стоять, другой бы, пожалуй, ещё кулаками помахал, зная, что нам будет трудно ему возразить. Уважать начальство – этому здесь быстро учили.

Мои предчувствия меня не обманули. Но это потом. А в тот момент я начал терять индивидуальность. Гниль свинарника настойчиво лезла не только за шиворот, а тяжёлый физический труд легко избавлял от инфантилизма. Общение требовалось, как воздух. Я вырос в коллективе, был когда-то тимуровцем, и смутные воспоминания о взаимопомощи и взаимовыручке преследовали меня. И потом, моё филологическое прошлое не давало мне покоя. Я начал изда-лека:

– Ты знаешь, однажды на семинаре мне был поставлен во-

прос, что бы я выбрал – беспрекословное исполнение возложенного на меня долга или отступил бы, повинувшись зову чувства, например, любви, как в трагедиях древних классиков. Тогда, как и все, я проголосовал за долг. И вот теперь, испытывая слабость воли, как некогда Гамлет, я подумал: а стоит ли этот долг того, чтобы его исполнять, наступая на горло собственной песне. Гамлету стоило. Честь, достоинство. Но нам? Разве долг в том, чтобы унижать и быть униженным? Да ещё испытывать благодарность?

– Я помню, чем там всё кончается у Шекспира, – сказал Бергер. – Груда трупов. Смерть несчастной Офелии. Эпоха титанов прошла. Долг перед совестью – это одно, другое дело долг перед государством. Тут твоё мнение особо никого не беспокоит. Мы с тобой, в некоторой степени, жертвы. А заведомой жертве жертвенность не по карману. Это – как из пустого в порожнее переливать. «Если вам не достаётся то, что вам нравится, то пусть вам понравится то, что вам достаётся», – один остроумный человек когда-то сказал. Чистая совесть позволит тебе только тлеть в этом дерьме, а хочется жить, жить по-человечески, даже здесь. И не надо декламаций, опомнись. Никакого выбора не существует.

– Всё верно, – продолжил я, – у Гамлета был выбор, так как он обладал свободой. Его свобода – это не только источник бесконечных мучений, но и залог всех его поступков. У нас её нет. Нас её лишили. Священный долг. Почётная обязанность. Это всё неплохо. Но вытащить нас из ауди-

торий для того только, чтобы кормить свиней, выслушивая оскорбления ефрейторов разного ранга, – это две большие разницы. Давай восстановим справедливость, накостыляем свинопасу. Он этого вполне заслуживает.

– При чём тут свинопас? Он не одинок, – оживился Бергер, – да и потом, нужно быть умнее, пусть им кажется, включая ефрейтора, что мы такие, какими они хотят нас видеть. Социальная мимикрия, понимаешь?

– Сначала он заставит тебя чистить вместо себя свинарник, а потом ты будешь сдувать пылинки с его сапог. Вот и вся мимикрия, – азартно подметил я.

Бергер с опаской посмотрел в мою сторону. Я не удержался:

– Да, святости в Гамлете маловато, но и непротивление тоже противно. А воплощаться в такое чудовище, как ефрейтор, вообще не хочется. Даже если это почётная обязанность и священный долг.

Бергер набычился:

– Я не о том. Не хочу быть Чацким. Это смешно, наконец. Всё можно решить иначе. Без пижонства. Не заостряя.

– Иначе! При каждой неудаче давать пытаться сдачи. Вот что говорит народная мудрость.

– Хамская философия. Гёте говорил: «Лучше несправедливость, чем беспорядок!» – Бергер завёлся.

Мне стало скучно с этим пацифистом, и я вышел на све-

жий воздух. Ах, Чернигов, Чернигов, старый кондитер, как жаль, что мне были недоступны тогда твои изысканные празднества! Беззаботно сияло солнышко, голубое небо было бескрайним, в кронах деревьев щебетали какие-то неведомые птицы... Мир был прекрасен. «Я не буду терпеть, меня не будет радовать этот маленький Аушвиц. И скрывать это я не собираюсь», – подумал я.

Вот тут и появился ефрейтор. Его прыщи сияли, как Первомайский салют. Нужно было кормить хрюшек. Полусонная братва почуяла угощение и загомонила, запрыгала, взрывая копытцами зеленоватую кашу, так что некуда было деться от взбаламученного дерьма. Ефрейтор тоже решил размяться. И первое, что сделал, это пнул Бергера. Тот застыл. Непонимание съёжилось в его глазах.

– Что встал, жид? – и увесистый кулак свинопаса прошёлся по подбородку недотёпы. – Мало вас били.

– Оставь его, – попросил я.

– Иди в бытовку, падло, – сказал ефрейтор Бергеру и полностью переключился на меня. – Ты умрёшь в роте, – сказал он, – а пока вылижешь все клетки.

И для того, чтобы я, видимо, лучше это осознал, он пнул меня в живот. Выбора, действительно, не было. Я принялся за работу. Каждый раз, когда я приходил доложить, что всё сделано, то видел одну и ту же картину. Ефрейтор сидел за столом с Бергером. Они пили чай, шутили... Им было весело. И свинопас кричал мне: «Вперёд, сукин сын, роди-

на-мать зовет!». И я уходил. Когда подошло время вернуться в часть, Бергер сказал мне: «Лёшка неплохой парень, пещерный только. Ты на него зла не держи. С дураками надо разговаривать по-дурацки. Зря ты тогда влез».

Я посмотрел на него. Он не лукавил.

– Пусть на рассвете, сынок, тебе приснятся розовые поросята, – ответил я.

Мне стало грустно.

ТРАССА

Раскалённая жаровня августовской ночи (будто не Россия кругом, а аравийские пески) стала остывать. Посветлело, повеяло прохладой... Утро как утро. Обыденное, как вонь. В казарме стоял устойчивый, всюду проникающий кислый дух. Воняло потом, портянками, немытыми ногами, поражёнными влажной сыпью грибка, прокисшими за ночь ртами, гниющими нарывами, обрывками чудовищных снов, мочой утраченных надежд и рвотной кашицей разочарований... Не казарма, а больничная палата для безнадежных, постоялый двор для бродяг.

Горева разбудили крики. В бытовке шли разборки, дежурный по роте Самедов молотил дневального. Незадачливый гусь проспал дежурного по батальону и вовремя не предупредил Самедова. А дежурный по батальону, капитан Ершов, имел чудную привычку совершать ночной обход с черенком от лопаты, так что Самедову досталось. И вот теперь он учил жизни молодого. Новиков, помощник моториста из Белозерска, а именно он был дневальным, противно визжал. Как поросёнок. Но сапоги деда не знали жалости.

«Дикий парень этот Самедов, – подумал Горев. – А вот, если кому рассказать, то не поверят. Так же, вот, как-то творил чепуху, меня ударил, а потом отвёл в сторонку и говорит: „Ты не думай, я тоже учился, книги читал, и не только наших

писателей. Самед Вургун, знаешь? Но и других. Я всё понимаю, и что не хорошо. Но нельзя по-другому. Самого затравят, так что, прости, если можешь“. Век живи – век учись. Кто бы мог подумать, что и в такой твари стыд обитает».

До подъёма ещё оставалось сколько-то времени, и Горев решил прокрутить в уме, который уже раз, намеченные комбинации. Ему не хотелось ехать на трассу, и он мучительно искал пути отступления: «В санчасть необходимо сходить, пусть везут в город, к невропатологу... Так: потеря сознания, сильные головные боли. Можно сказать, даже тихое помешательство. Раз. Остаться в роте в качестве дневального или его помощника. Два. Просто слинять. Пусть уедут, а потом приду. Что ещё?». Он напряжённо задумался. Из состояния комы его вывел Эргашев, отслуживший полгода чумоход. Этот хитрый узбек был почему-то уверен, что забитый дух забит для всех, даже для черпаков, а потому провести его будет нетрудно. Растолкав Горева, он надменно сказал:

– Сафар велел тебе привести в порядок его сапоги! Чтоб блестели, понял?

Крысиная мордочка вчерашнего духа вкрадчиво шурилась. Ни о чём таком Сафар даже не заикался. Горев спал через пару коек от Сафара, и если тому приспичило бы с сапогами, то он бы сказал. Всенепременно. Эргашев лгал: когда есть духи, то при чём тут черпаки. «За счёт меня от собственного унижения избавиться хочет», – смекнул Горев.

– Ничего не знаю, сапоги у тебя, сам чисти! – уверенно

сказал он.

– Я тебе морду набью! – Эргашев сдался. «Слабоват ты, парень, для этого», – сонно подумал Горева.

– Чисти, чисти! Сафара ты лучше меня знаешь, – доброжелательно сказал он.

Эргашев сгинул в бытовке. День начинался отвратительно. Подъём прервал неясные фантазии Горева. Определённо он знал лишь одно – на трассу сегодня он не поедет, чего бы это ему ни стоило. Но обстоятельства предполагали другое развитие сюжета. После завтрака он прямо из столовой побежал в санчасть. Сделать это было непросто, дух дедам всегда нужен. В Горева тогда вызывало сильное удивление то, с какой быстротой комсомольская поросль (хорошо воспитанные, или не очень, закончившие советские школы недоросли) превращалась в расу господ. Хозяева жизни. Им хотелось командовать. Они становились беспомощными в самых простых ситуациях. И потому им требовалась челядь. Некоторым, наиболее одарённым – даже свита. Претерпев все унижения и превратности судьбы, вчерашний плебс желал править, наделял себя титулами, боролся за власть с сильными мира сего, безжалостно топча остальных. Совсем в духе нашего государства. Заболевание какое-то, поветрие. Моровая язва. Или, может быть, защитная реакция, а причины – где-то вовне? Невероятная ненависть к себе подобным... А может, это месть за напрасно прожитые годы, та рабская кровь, которую так и не успели вытравить наши предки? По капле.

Микроскопическими дозами. Вот и рецидив.

Гореву было жалко себя, унылого и потерянного. Он знал, что ад – это везде, где захочется Господу Богу. Гореву повезло, смылся он от дедов. Оставалось решить вопрос с медициной. Санчасть, одноэтажный деревянный домик, хрустальная мечта каждого духа. Ещё лучше – госпиталь. Когда, запыхавшись, Горев влетел в дверь санчасти, его приветствовали мощным ударом в грудь. Перед ним высился фельдшер Мартиросян, местное медицинское светило. Этот бугай был культуристом. Он стоял в одних плавках, все мускулы его играли, и, видимо, чтобы внимание случайного зрителя не ослабевало, он ещё раз ткнул Горева кулаком. Тот начал считать углы. Немного утихомирившись, слишком здоровый медбрат сказал:

– Я ко всем хорошо отношусь! Дед, так дед. Гусь, так гусь. Все это знают. Ты к врачу? Так иди. И не топчись тут, только что пол помыли.

Горев робко постучал в дверь кабинета. Санчастью управлял доктор Илья Вениаминович Файнберг. Человек немолодой, неглупый и практический. Больных для него не существовало. Принцип был один: если ты солдат, тогда иди, служи и не морочь людям голову.

– Что у вас? – недовольно буркнул он.

– Потеря сознания, доктор. Сильные головные боли. Адские прямо... – сказал почтительно Горев.

– Это серьёзно. Нужно ехать в госпиталь. Да вот послать

тебя не с кем. Мартиросян занят, у меня на сегодня намечено много важных дел, так что придётся потерпеть, дружок. Если вот на той неделе... Попроси что-нибудь у Мартиросяна, он даст, а пока иди. Иди! – и он добродушно махнул рукой.

Чашка чая, уютное кресло, интересное чтение влекли его. Гореву в этом наборе не было места, и он вышел, злобно чертыхаясь: «Гиппократ на них нет!». Кроме обиды, зависть зашевелилась в Гореве. Доктор читал старый номер «Иностранки». Горев узнал его, там был поразительный рассказ «Превращение», страшный, ни на что не похожий... Страшный и обыденный. Страшный, как зимняя ночь для бродяги, и обыденный, как работа для палача. Он всё бы отдал, чтобы просто полистать этот номер. Давно ничего не читал, кроме устава. Вообще чтение книг в батальоне считалось занятием противоестественным. Как педерастия. Читателей не любили и даже презирали. На дверях библиотеки всегда висел замок. Иногда, правда, там собирались офицеры, но, увы, не для культурного общения. Водочка, барышни... Место больше ценилось за интерьер.

«Боевой листок» – газета, комсомольское собрание, где всегда можно решить все вопросы. «Если надо, обращайтесь в парторганизацию. Старшие товарищи вам помогут», – так именно представлял себе повышение культурного уровня солдата рупор передовых идей и официальный нравственный императив нашей чести майор Шостак. Газеты, действительно, читали, но в основном в уборной. «Достижения,

успехи и победы» почему-то хорошо уживались с известным физиологическим процессом, видимо, на почве материализма. Книги, если это были не труды классиков, в части отсутствовали. Горев не мог жить без книг. Жизнь, наполненная только повседневными нуждами, казалась ему пресной, несмотря на своё внешнее разнообразие. Тот смысл, который пытались придать воинской рутине политработники, ничего, кроме отвращения, не вызывал.

И ещё – безобразие происходящего убивало душу. Из жизни была изгнана красота. «В прекрасном – правда, в правде – красота», – сказал когда-то поэт. Сам образ красоты исчез из умов. Даже пейзаж военного городка давил своей заурядностью: индустриальный очень – два оборонных завода дымили поблизости – загаженный, неприкаянный какой-то. Отовсюду веяло дряхлостью, ветхостью, распадом. Казармы времён первых пятилеток, грязная солдатня, разбитая техника. Представлялось, что остатки разгромленного и деморализованного батальона, сознавая своё бессилие и позор, спрятались за стены части и мирно вымирали тут, в стороне от больших дорог и любопытных взглядов. Существование на обочине жизни было выморочным, фантазмагоричным: «Того и жди сюда чужого флота».

Горев наивно верил тогда, что благодетельная тайна реально присутствует в пыли книжных полок. Книги освобождали от обыденности и избавляли от надежд, которые одних делали слабыми, а других превращали в зверей. Пронзали пони-

манием, что, как бы хороша или плоха ни была твоя жизнь, она, всё равно, далека от истинной сути. Ты мелок и убог в своём счастье и в своих бедах. Недостаёт главного – божественной близости. «Красота души – в уподоблении её Богу», – говаривали древние. Идентификация образа и естества, где становление – это не воплощение в одну из расхожих жизненных схем, но полный отказ от всеобщих установок, неизбежный разрыв с ними. Книжная полка противостоит реальной видимости, не миру, точно так же, как душа – косной материи. Поэтому так взрывоопасна пыль книжных полок, поэтому в иные времена так ненавистны сами книги и даже их читатели, которых подозревают, бог знает в чём, что, впрочем, совершенно оправдано. В книжном коконе таится крамола. И где бы ни появилась книжная полка, всегда отыщется читатель... Батальонная библиотека была, правда, закрыта по иной причине – не могли найти библиотекаря, зарплата очень уж невелика. Так что... Монологи на лестнице.

В роте стоял кавардак. За сравнительно короткий срок Горев успел сбегать в столовую, отнёс туда пустые тарелки (деды любили покой и уединение), где его выругал дежурный, вымести лестницу, дважды слетать в соседнюю казарму, и когда Нурпеисов вручил ему швабру, он дал себе слово больше не выпускать её из рук, остаться в роте дневальным, благо сам Нурпеисов, отслуживший год фазан, ушёл спать

в класс. Но старшина, человек с челюстью настоящего мужчины, не знал снисхождения:

– Задолбали урюки! Мне каждый человек дорог, а он тут пол метёт. Где дневальный? На вторые сутки оставлю! А ты – марш в машину!..

Надо сказать, настроение у старшины было паршивое. Он пришёл в казарму, когда рота была в столовой. Войдя, он сразу же увидел, что Сафар, много возомнивший о себе дед, безмятежно спит. Такая наглость вывела его из себя. Кровь ударила в голову. Кровать он перевернул, так что спящий Сафар, как бумажки из опрокинутой мусорной корзины, плавно и неаккуратно вылетел в проход. Никого не было. Момент был удачный. Сафар давно хотел сказать старшине всё, что о нём думает. И сказал:

– Ещё раз, и я тебя зарежу! Ты моё слово знаешь, чмошник!

Старшина, не подавая вида, что струхнул, мрачно выдавил:

– Одевайся!

И стремительно вышел из казармы. Сафара он опасался, знал, что не стоит переходить черту. Достоинство горца выше устава. А нож, он и есть нож. Старшина понимал, что мелкая месть из-за неудачно сложившейся жизни, дикого выверта характера, грубости натуры и даже дисциплинарного устава не стоит столь большого риска. Эти ребята пускали в ход нож так же легко, как портили девок из близлежаще-

го посёлка. Поэтому, подумав, он решил отыгаться на ком-нибудь другом. Сафар был ему не по зубам.

Утреннее происшествие раздосадовало старшину, но Горев и не собирался ему перечить. В машину, так в машину. Рота уже разместилась в трёх «Уралах», до выезда на трассу оставалось минут пять. Горев отправлялся туда впервые. Эх, трасса, трасса... «Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный...» – так пели когда-то комсомольцы. Бодро, жизнеутверждающе пели. Им простительно, они и понятия не имели, что же такое трасса. А это... Тяжёлый физический труд, мат, ругань, побои, истязания, изнасилования... Унижение достойных и втоптывание в грязь слабых. Всё, как в жизни, только наоборот. Вместо светлой стороны – тёмная, вместо исключений – правила. А вообще-то это день, когда, проснувшись утром, ты думаешь: что же такое можно сделать с собой, чтобы там не очутиться? Вскрыть вены, отрубить себе палец, сломать руку, уйти в побег, напиться солярки, убить кого-нибудь...

И плачешь от бессилия и бешенства. Если Бог умер, то умер он на трассе, и распяли его ржавыми костылями на одной из никудышных, тупиковых веток – не сверкающие латами, brave римские legionеры, а побуревшие от жары и пыли монтеры пути, жалкие гуси железнодорожных батальонов.

Электровоз, зелёный жук на чугунной ветке, пригнал

несколько платформ, на которых Эверестом возвышались груды шпал.

– Да-вай, ребята, навались! – возбуждённо орал старшина.

И все навалились. Клубилась пыль, неслись неясные крики, стоял густой мат... Вся прелесть работы на трассе состояла в том, что работали далеко не все. А те, кто работал, должны были успевать за всех, да ещё, может быть, и выйти в ударники. Это было нелегко. Когда в столовой ешь только чёрный хлеб и перловку, тут уж не до поднятия тяжестей (кое-кто, правда, не брезговал и помоями, обжимая жирных батальонных свиней. Таких нещадно били). Потные ладони отказывались держать груз, шпалы выскользывали из рук. Налетали деды – пинки, вопли. Блестевшие от пота тела окутывала жирная пыль. Раз, два, три... Дыхание прерывалось. Оголённые искры начинали метаться перед глазами. «Каторжники, ети их мать, – мутилось в голове у Горева. – Туза бубнового не хватает. Главное, почти добровольно. Поупираться бы, пособирать справки. Эх, молодчики-купчики, ветерок в голове!»

Когда шпалы очутились на земле, их надо было разложить. Шпала ещё ладно, а вот брус... Эту глыбу не так-то просто сдвинуть с места. «Так, Горев, Васильев, взяли... Быстрее, стервецы. Никакой сноровки! В детский сад отправлю!» – шумел старшина. Как в бане, в парной. Вот только банька-то по-чёрному... Всё в каком-то чаду, в тумане. Тело разваливалось на куски. Проклятое солнце палило так,

что в черепной коробке кипело серое вещество. И последняя гражданская дурь, если такая оставалась, выветривалась вместе с остатками здравого смысла.

Пришло время перекура. Все улеглись на землю, на духов было тошно смотреть, не люди, а дети подземелья, рабы стальных магистралей, бережно хранившие в карманах курток порыжелые от пота письма в какие-нибудь полузабытые, прекрасные времена... Потом был рывок. Нужно было перетащить рельс, чугунную оглоблю на расстояние полкилометра. Народу было мало. «Окно» до электрички – минут тридцать. Старшина сбросил рубаху. Его огромное, странно белое тело с толщиной жира и буграми мышц напряглось в ожидании схватки. Всем выдали какие-то железные щипцы и разбили на двойки. Впряглись все, невзирая на чины и лица.

– Раз! Поехали! – проорал старшина.

Что-то нечеловеческое было в этом порыве, лица всех искривились, безумные глаза выперли из глазниц, каждый что-то кричал, извивался... Когда цель была достигнута, из раскалённого марева вынырнула деловитая тень электрички. Все были счастливы. Но единение, такое кратковременное, было фальшивым. Старшина ушёл на другой участок. Деды захотели есть. Рядом с железкой находилась фабрика по производству кондитерских изделий. Солдаты бегали туда за пряниками. Работницы, молодые и дородные хохотушки, охотно подкармливали бедолаг. Сафар – где он до этого

находился, сказать трудно – приказал:

– Гуси! За кормом!

Горев тоже встал, чтобы идти, но Сафар небрежным жестом остановил его:

– Без тебя справятся. Шнырь, Попа, вперёд!»

И гуси вспорхнули. Им самим хотелось пряников, дорога была хорошо знакома. Они ушли. Сафар, почёсывая густо заросшую шерстью грудь, весело рассмеялся:

– Бабы там слёзы льют, глядя на этих гопников. А те им, тем временем, под юбки заглядывают. Голой бабы, наверное, никто в глаза не видел. Соплюны!

И он, блаженно постанывая, раскинулся на траве. Но долго лежать ему не пришлось. Прибежал замполит роты Александров, сухопарый рыжеватый малый. Он был так моложав, что, если бы не погоны, сам бы тянул на припухшего дембеля.

– Давайте вставайте, надо подсыпку делать. Лопаты берите, – энергично приказал он.

Худайбердыев, изнурённый водкой дед, мрачно ему ответил:

– Сам бери!

– Что! А ну, встать!

– Давай, замполит, один на один, что – слабо?

– Что ж, давай!

Борьба была недолгой. После молниеносной подсечки Худайбердыев распластался в пыли.

– Ну, ты даёшь, лейтенант! – уважительно сказал он. – Гуси, гуси, за лопаты, живо!

И гуси принялись за дело. Посланные за пряниками где-то блуждали. Но гроза уже надвигалась. Откуда-то пришёл старшина. Он сразу же определил, что двоих нет:

– Где они? Молчите. На фабрику пошли. Я сколько раз вам говорил, чтоб туда ни ногой! А? Что ж, подождём.

И он, закулив сигарету, уселся в тенёчке. Он любил скользкие ситуации, любил распускать руки, так что многие духи возвращались с трассы с его отметинами.

Наконец гонцы появились. Старшина, неспешно докурив, взял палку и направился к ним. Как кролики перед удавом, они не пытались бежать или защищаться, понимая, что формально старшина прав, да и защиты от него нет. Избиение было жестоким. Таджиеву старшина разбил голову, кровь на его чумазой физиономии никого не ужаснула.

– Так, так, поучи, старшина! – поддакнул Сафар. – Совсем от рук отбились, за смертью только посылать. Так их!

Гуси бессмысленно пялились на старшину. И тот, наконец, сменил гнев на милость:

– Пряники принесли? Да не трогай ты, Таджиев, голову, не помрёшь. Давайте пряники!

Сладость была нестерпимой. Горев ел с удовольствием. Вот это да! Кругом грязь, почти уголовники избili в кровь твоих товарищей, а ты пряники ешь. Свобода, равенство, братство. Светлый путь. Да здравствуют гуманисты всех вре-

мён и народов! Да здравствуют бородатые классики! Пряники мы едим. Вот дождём и снова задумаемся о справедливости. Боже, если ты есть, не дай же пропасть! И Таджиев ел, улыбаясь сквозь слёзы. Он замарал руки кровью и теперь хватал пряники этими ужасными руками. Ел, и ничего... Никого не смущали эти руки с въевшейся грязью, пропитавшиеся вонючим ядом креозота, измазанные кровью. Лирика! Никто даже не смотрел на них. Пряников бы хватило. Желудок не восприимчив к психологическим изгибам.

Одно чувствовал Горев: какое-то злобное существо в нём поселилось. Фантастическое существо, типа раковой опухоли. Тёмное, смрадное, навязчивое, как пьяный забулдыга. И такое липкое, что знал Горев: трудно будет от него избавиться. Все мысли как бы выпачкались в нём, и даже душа стала другой. Страх поселился в ней. Незванный, отвратительный гость. Хищное насекомое.

– Ну, что, доели? Взяли лопаты и на подсыпку. – Прервал трапезу старшина.

Горев взял лопату, как-то недоумённо глянул на неё. Что это? Инструмент или орудие убийства?

– Что встал, раззява? – Сафар раздражённо ткнул его в плечо.

Все пошли к железке.

РАЙСКИЕ ТРАВЫ (ВАГОН-1)

*...И тот, кто мог помочь, но не помог,
в предвечном одиночестве останется.*

Г. Иванов

Стоит ли опять об этом? В одну реку... А я буду! В реку, в лужу, в помойную яму... Лишь впадая в отчаяние, я обретаю под ногами твёрдую почву... В отчаяние, в бред, в шизуху... Надеюсь, выздоровление мне не грозит. Пока хватит сил...

И фекальные воды поглотили меня. Я – на трассе. В полном дерьме. Ничего не поделаешь... Теперь только это, и название этому – воинский долг...

Вагон с песком, два товарища по несчастью (по иронии судьбы – близнецы-братья: Гриша и Миша). Да ещё солнце, дикое солнце того самого августа, которое я не могу забыть до сих пор... Гнилостное брожение души моей... Я придумал молитву: «Читай по губам, если Ты есть...». А дальше что-то очень неприличное, сейчас уже и выговорить-то страшно, а тогда ничего умнее в голову не приходило. Тогда – упоительная возможность реконструкции всех этих пакостей...

Близнецы сопели от усердия. Их показное рвение вывело меня из себя, слишком уж они завелись... Самед ска-

зал, уходя:

– Главное – темп! Приду, проверю, накажу!

И ушёл... Маугли хренов... надменный и беспощадный, как и принято в их саксаулах... Ушёл... И всё закипело...

Самеда боялись, трепетали перед ним, в ярости он был бесподобен, душман обкуренный, запросто мог изувечить... Казалось, не оторвись он в этот момент на ком-нибудь, то всё! Сам сделает себе харакири... Но под рукой всегда кто-то, да был... И один из пострадавших от его пылкости до сего дня гнил в госпитале... А Самеду хоть бы хны... Было чего бояться... Они и боялись, а потому и вкалывали на совесть, и даже больше... Триумфальное трудолюбие... Я тоже боялся, но страх довёл меня до полной, фатальной деградации, а какой спрос с идиота, тошнота одна... Всё пофиг... Вагон, песок, солнце... Платформа вон, на ней – баба! Сочная баба, сисястая, в сарафанчике, коленки обалденные, смотрит куда-то вдаль... Один из близнецов, Гриша, кажется, а может, Миша сумрачно выдохнул, перехватив мой бешеный взгляд:

– Вздрючить бы её сейчас, а?

– Неплохо бы, – говорю, – только вот песок докидаем, а там хоть черенком от лопаты... На другое-то нас не хватит...

– Меня на всё хватит, – с пролетарским энтузиазмом возразил мне, может быть, Гриша, – на всё и на всех... с прибором!

«Жаль, что Самед этого не слышит», – подумал я, – он бы

тебя одного на вагон поставил... Из экономии...» Кстати, я заметил, что зло гораздо прагматичнее добра, по мелочам не разменивается, всегда его ровно столько, сколько не унести, чуть выше нормы – и всё: колени подгибаются, ручки трясутся, а в глазах плывут себе ленивые облака опустошающего душу безволия...

У этого забытого Богом полустанка мы гнили уже вторую неделю... До кровавых мозолей и мальчиков в глазах... Одна радость – тётки на платформе, мяконькие, сладенькие... Но нам до них было не добраться. Дедам, вроде бы, что-то удавалось, да и то с натугой, фантазировали больше, выпендривались перед нами, козыряя своими победами, а нам – что, нам бы подмочить втихомолочку... Отчего бы и не подрочить... на весь этот грёбаный мир... Казахи вон лошадь на свинарнике оттянули, и ничего – как будто, так и надо... обалдуи!

«Следи за рукой, если Ты есть... Вот тебе и воздухоплаватели духа! Я – скотина, я – негр! Сокрушительная кастрация, не желаю...»

Ближе к обеду пришёл Самед, привёл с собой Токаря, забитого доходягу из духов... Он был (был – мечта), как всегда, краток:

– Припухли, чмошники! В роте поговорим. Вот вам помощник!

Он ласково двинул Токаря по затылку, как-то по-особому (нежно, должно быть) посмотрев на него, и сгинул в кустах...

Кому – служба, а кому – сафари, шезлонги, суахили или как оно там!

«Читай по губам, если Ты есть...»

А Токарь, токарь-пекарь, соплёй перешибёшь – девчонка переодетая, урюк, одними словом... Как стебелёк на ветру... Стоит, моргает, ждёт команды...

– Вешайся, салабон! – рывкнул на него Миша, а может быть, Гриша, – лопату в зубы – и вперёд!

И для убедительности выписал тому пинка. Сразу всё усёк, куда ему до нас... Мы – не духи, у нас уже по полгода этой муры, название которой – «воинский долг»... Из петли ещё не выбрались, но уцелеть, кажется, уцелели – тьфу, тьфу, тьфу... чтоб не сглазить... А Токарь? А что – Токарь? Работник из него никакой, и зачем его только Самед привёл? Так бы хоть отмазка была – мало, дескать, нас, но выкладываемся-то на полную, не идёт... Смех... И даже солнце, как писал классик, смеялось над нами... На сковородке... среди садов, плодов, бобов... в пекле... Богооставленность – вот что это такое... Естественный отбор... И набор тоже вполне естественный: жрать, насиловать, убивать... Песок, пески... Сыпучие слёзы Азии... И мы брели по этим пескам, уже не веря в собственное спасение... Даже его не хотелось...

Пришло время обеда, дневальные привезли хавку: суп, перловка, компот... Пот и мухи, жирные мухи августа, мириады мух, словно над трупами на поле битвы, исход которой уже предрешён... А пока – жрать, давиться этими помоями,

блаженно похрюкивая и смачно рыгая... Полная безмятежность... Никакого горизонта... Жрать, пить и ещё бы вон ту бабу с платформы... «Читай по губам, если Ты есть...»

– Как ты думаешь, – спрашивает меня то ли Гриша, то ли Миша, – ты же у нас умник, – есть на свете Бог или нет? А если есть, то нафига нам эта перловка за вагон песку? Не побожески как-то, а? Обдираловка, да ещё этот упырь на десерт, пуштун грёбаный, опять в роте разборки учинит, жить без этого не может... Так есть или нет? А если нет?! Тогда зачем нам всё это нужно, лопаты за борт и айда в бега, не на старшину же молиться. Что молчишь-то?

– А если скажу, ты поверишь, – смеюсь над ним я. – Вряд ли... Поживём – увидим. Или не увидим, если песок не разгребём... Как получится...

– Умник, а не знаешь, – то ли Миша, то ли Гриша разочарованно погрыз спичку и завалился в сочную мякоть травы...

Безмятежная полнота ощущений. Мы брошены, и за нами никого нет, и над нами нет, свободны, совсем одни – в этой сладкозвучной траве на самом краешке мира... Жуть. А потом пришёл Самед, кочевник х..в, для разнообразия – хоть раз мог бы и не прийти. Пришёл, похмыкал сдержанно, выдал нам пару пощёчин и благополучно удалился (стоило и приходиться), забрав с собой Токаря, принести, что ли, ему что-то было нужно, или ещё зачем, какая разница...

А мы, гори оно огнём, насобирав бычков на обочине, за-

курили, беспечно пуская дым в безоблачные выси, пустые и выцветшие... Один из двойников, проголодавшись, видимо, внезапно буркнул:

– Сходил бы ты, умник, за яблоками, а? А мы пока покидаем, толку от тебя, всё равно, нет! Сходи, друг?!, Тати не жнут, они погоды ждут...

– Ладно, – говорю, – схожу, а почему бы и нет? Провырынь...

«Действительно, – думаю, – надо сходить, Самеда нет, а сады – вот они, рядом...»

Тропинка вела меня через заросли к дачным домикам, где бродили люди, лаяла собака, легкомысленно дрожал в знойном мареве дымок коптильни... Все мои злые мысли исчезли сами собой, растворились в ясности окружающего меня блаженства, да и зачем было тревожить сон разума, чудовищ-то и след простыл – яблоки, колодезная вода, зелень лета, что ещё нужно для счастья одинокому сердцу, попуганному моему сердечку...

Я достал завалившийся в кармане бычок, закурил спокойно и уверенно, как и положено покорителю неосвоенных дотол пространств, определил направление и потопал себе к ближайшему забору... И всё бы ничего, если бы я не налетел на Самеда, точнее – на эту сладкую парочку: Самеда и его трепетную лань, Токаря, то есть, а может, Антиноя... Трахал его Самед неистово и безжалостно, ловко так... Оба, как загнанные лошади – в пене, в мыле, в сперме... Даро-

ванная мне катастрофа... Первая любовь и последняя жалость... Смерть на вздохе, почти гармония... В общем, та ещё картинка...

Яблок я насобирав прямо у одной из дач, перелез через забор и ползком по траве – шелковистой, податливой – и так до самого дома. А эти ходят поблизости и ничего не подозревают. Дама в соблазнительном халатике, породистая стерва, муженёк её, видимо – педрила, лысый, с лейкой, детишки голопузые бегают, резвятся... Идиллия... А яблок вокруг, груш – рай земной. Собрал моментом и к близнецам-братьям...

Всё было в полном порядке, мы сидели на куче песка, грызли яблоки, травили какие-то анекдоты, а по платформе, медленно так, шли к нам Самед и Токарь, токарь-пекарь... И тоже о чём-то болтали, покуривали себе беззаботно, Токарь даже руками размахивал, восторженный такой... Объяснял что-то этому земляному червяку...

Один из двойняшек чуть яблоком не подавился.

– Свистать всех наверх, – запоздало рыкнул он. – Самед идёт!

И мы немедленно полезли в вагон, где песка ещё было, как в Сахаре... «Читай по губам, если Ты есть...»

А потом всё закончилось. Вагон, блаженный остров моего проклятья, был пуст, песок – на обочине... А мы? А мы стремительно сходили с ума, скатывались, рвались, как псы с поводков...

– А мне дашь, Токарь? – тяжело дыша, хрипел Гриша, а может быть, Миша...

– И мне? – поддакивал ему его двойник, или наоборот, наплевать... Всё равно, на одно лицо. Предприимчивые, шустрые.

– Да и я не прочь, – вторил им, в шутку, вероятно, я...

Да, да – так это было в том августе, который я не могу забыть до сих пор... А Токарь, былинка чахлая, полз от нас по песку к какому-то невидимому оазису, где, возможно, по его нелепым предположениям, ещё была жизнь... И напрасно. Не было её там, никогда не было... «Читай по губам...»

МУСОР (ВАГОН-2)

Выпал снег, нежный и чистый, как дитя в церкви, в святой для него час, перед крещеньем. Он сыпал всю ночь и возвёл такие пушистые вавилоны, что угрюмые дворники, шуровавшие на каждом углу, сбились с ног. От их телогреек валил пар...

«...Выпал снег, и всё забылось», – радостно удивился Горов на бегу, в спешке... Радостно, да не совсем. Снег... Утро... Одно из многих... Дистиллированный свет фонарей... И серебряные искры ледяным холодом обжигают сердце... Вся жизнь, видимо, состоит из тысячи повторений тех или иных событий, некогда заставивших содрогнуться душу и время от времени вновь пытающихся её надломить...»

Тогда тоже шёл снег. И старшина проорал:
– Подъём!

И солдатики, мрачные от недосыпа, на ходу одеваясь и застёгиваясь, выбежали на плац. На зарядку, как обычно... Насторожённо светили прожектора, у штаба суетились какие-то тёмные фигуры, и майор Шостак, замполит батальона, в надрывной шапке уныло брёл по направлению к столовой, а рядом с ним тихой сапой сновал дежурный по части, малость растерянный и хмельной...

Но зарядку пришлось отменить... За туалетом, на сталь-

ных перекладах теплотрассы висел человек. Вниз головой. В нижнем белье под распахнутой шинелью. В одном сапоге. Второй сапог чернел на снегу. Забравшись на теплотрассу, солдат, понятное дело, изрядно струхнул, и эта внезапная остановка привела к тому, что он повис вниз головой, так и не успев освободить одну ногу, застрявшую между трубой и стальной перемычкой...

Солдатик висел на ремне... За туалетом... И весь батальон, как стадо баранов, сгрудился вокруг этого места. Замер, забыв обо всём на свете. И шёл снег – тихо, тихо... И хотелось засунуть в сугроб голову. Вот такое было тогда утро. Не отогнать, не развеять...

Горев попытался прикурить, ломая спичку за спичкой. Ругнул себя. И, освобождаясь от ставшего привычным наваждения, пошёл дальше. Через сугробы, мимо расторопных дворников... В эту командировку его затолкали в последний момент, в конце отработки, и вот он торопился на поезд, воображая себя мучеником, давно утратившим предмет поклонения, но сохранившим странную тягу к жестоким экспериментам. Над собой, разумеется...

Февраль затаился, равнодушно позёвывая... И вокзал выглядел игрушечным в этот предрассветный час. Вокзальчик. Он призывно сиял всеми своими окнами, простодушно радуясь непрошеным гостям. Было бы чему... Вокруг деловито шныряли милицейские «воронки», несколько нарушая благостную картину. По-хозяйски. И ещё вспомнилось, слов-

но вынырнуло откуда: «Февраль – самый короткий и самый злой месяц...». И стало зябко вдруг Гореву от неясных предчувствий. Все неприятности, а они не отставали от него в последнее время, случались с ним именно в феврале. Злой месяц, колючий...

Он, как всегда, опоздал и пришёл «под завязку». Погрузка была закончена. Тридцать человек – пьяницы и тунеядцы, направленные в ЛТП, разместились в обычном плацкартном вагоне, где в трёх купе мирно отдыхали обыкновенные пассажиры, смертельно напуганные внезапным вторжением уличного сброда. И вагон загудел. И выражаться начали и те, и другие. И попёрла библейская похабщина. Так что, где-то там, в глубине, проснулся и заплакал ребёнок – жалобно, горько, навзрыд...

Погрузка была закончена, но собрались, как выяснилось, далеко не все. Откуда-то привезли Француза (отгулял, голубок!), широко известного в городе забулдыгу. Грязная фуфаячка, стоптанные кирзачи... Весёлый и злой, он бесшабашно скалился и молол чепуху. Потом, заметив в толпе провожающих знакомое лицо, метнулся туда, не обращая внимания на грозные окрики конвоиров. Безумный нищий, возомнивший себя принцем крови...

Его ждал мальчик, рядом с которым восторженно подпрыгивал на трёх лапах (передней правой не было – кулышка чёрная) лохматый беспородный пёс. Увидев Француза, они в радостном смятении поспешили к нему навстречу,

но тщетно... Подлетел капитан Рыжов, начальник конвоя, отпетый мент. Он выдал Французу звонкий подзатыльник («За что, начальник? Ёк-макарёк...») и забросил его, как мешок картошки, в тёмный тамбур вагона, где того подхватили невидимые руки...

Мальчик плаксиво скуксился, а пёс яростно залаял, получив мимоходом увесистый пинок от Рыжова. Сам капитан уже деятельно мотался среди «воронков», в толпе не проспавшихся, явно с перепоею, чекистов... И огненные искры сыпались во все стороны, при каждой затяжке, от его беломорины, уютно тлевшей в углу вечно орущего рта... Наконец Рыжов заметил Горева – тот никуда не спешил и на дело не напрашивался. Сумрачно буркнул:

– Службы не знаешь. Опоздал. Ладно, полезай внутрь и устраивайся у тамбура с той стороны. Вот, вместе с Егоровым будете... – И он указал Гореvu на туго затянутого в форму недомерка из пожарной команды, сонного, с мертвенно-бледным лицом и стеклянными глазами. Они нехотя пожали друг другу руки и полезли в вагон. Пожарникам не было никакого дела до ментовских проблем, но их бросили на усиление, и, в меру своих сил, заниженную службу они, всё же, тащили...

В вагоне пахло гнилью и табаком. Пьяницы и тунеядцы беспечно обживали отведённое им пространство, а после камер приёмника-распределителя путешествие в плацкартном вагоне (вояж, вояж!) представлялось им раем, нечаянным

подарком судьбы. Они уже что-то жевали, травили баланду, теребили замусоленные карточные колоды, отчаянно курили, вызывая яростное сопротивление проводников и пассажиров...

Поезд поскрипел, погромыхал всеми своими винтиками и неспешно тронулся. Ноев ковчег. Каждой твари по паре... Вперёд и с песней. Егоров молчал. Его глаза, не отражая света, запали куда-то вглубь и замерли там. Он нахохлился, как ворона под дождём, и отрешённо уставился в окно. Весь его облик как бы говорил об одном: «Еду, еду... Но делать ничего не буду, сами своё дерьмо расхлёбывайте...». С ним всё было ясно. И Гореву пришлось отметить – не получилось разговора, что ж поделаешь, замкнулся человек, надо занимать себя самому. Что с того? И одному не худо. Только в одиночку Горев становился Горевым, а не кем-то ещё... В одиночку.

Утро было сереньким, как папки с делами в кабинете следователя. И тяжёлые мысли, как кошмарные сны, стремительно накатывали из ниоткуда... Попал Горев в милицию случайно. Один из его шапочных знакомых, известный абориген барахолки по кличке «Тампакс», работавший в милиции по вольному найму, пристроил туда и его, Горева, на открывшуюся внезапно вакансию. Так он и стал ментом. По недоразумению. Он не обладал ни холодной головой, ни горячим сердцем, ни чистыми руками... Всего в нём было понемногу, как в мусорной куче. Да, прирождённым че-

кистом он не был. Факт. И рукам волю не давал. Никогда. Даже – если это было необходимо... А может быть, и нет, может быть, он просто обманывал себя, да и необходимости, как таковой, на самом деле и не было, не возникало... Но испачкаться Горев не боялся. Нет. Тем более – как он считал – грязь появляется и особенно видна только там, где излишне заботятся о чистоте. Рядов, например. С сомнительным рвением. А в народе как? Из грязи и в князи. А, в общем, не в этом дело. Он страшился своей работы, в целом, как страшится всеми покинутый маленький несмышлёныш – чёрного паука с аккуратным крестиком на упругой спинке...

Прошрое его было неказистым, он стыдился своего прошлого, настоящее – заурядным и пресным, будущее – он с надеждой всматривался в него – призрачным и невнятным... Всюду – кресты, крестики, нолики... Какая-то мучительная пустота, от которой не спрячешься, не убежишь... Его существование походило на сон, а сон – на воспоминание о каких-то нездешних, фантастических временах...

...А вагон жил своей особой жизнью. Дым стоял коромыслом, хоть топор вешай. Звенела посуда. У братвы откуда-то появились трёхлитровые банки, чай, который они по минутно бегали заваривать к титану... Главным заводилой был Француз. Он метался с этими банками, выдавал на ходу скабрзные анекдоты, о чём-то спорил с проводником... Шустрил, в общем. Братва веселилась от души. С той сторо-

ны вагона пришёл Рыжов. Он был чем-то явно озабочен. Маленький, лысый, с резкими дёргаными движениями типичного неврастеника... Он сказал:

– Нас семеро – их тридцать... Поднеси искру, и всё вспыхнет. Не довезём, так что, не спите... На кладбище отоспимся.

И он ушёл, удручённый своими фантазиями...

«Вот, не сидится тебе, волчара, – устало подумал Горев, и, продекламировав себе под нос: «Или бунт на борту обнаружив...», он задремал, задремал... Разбудил его Егоров – испуган, убит. Его бесцветные глазки вспыхивали и гасли, как зрачки обезумевшего светофора.

– Они договорились с проводником, чтобы тот продал им водки. Выпить им захотелось. В последний раз. И уже, видимо, выпили, – он вымучено улыбнулся. – Ты побудь здесь, а я пойду к Рыжову на инструктаж.

И он исчез. Канул... И заплёванный пол вагона, как шаткая палуба брига во время бури, начал убежать из-под ног. Гул нарастал. Мятеж. Бунт (напророчил!). Бессмысленный и беспощадный.

В вагоне действительно накапливалась, медленно вызревая, глухая косная сила, тёмные её волны уже ползли по коридору: бессвязные ругательства, долгие и нудные шепотки, натужный кашель; там всё двигалось, как щупальца невиданного чудовища, ищущего выхода и готового смести всё на своём пути... Кто-то, заводя себя и остальных, дико хрипел в соседнем купе:

– Если я выпью, то им мало не покажется. Я им устрою последний день Помпеи, была бы водка!

И тот, за стенкой, по-звериному заскрипел зубами. Всё смешалось. Где-то разбили стакан. В купе к Гореву уже несколько раз заглядывали какие-то безобразные рожи, заглядывали и благожелательно ухмылялись:

– Всё ништяк, сержант! Держи хвост пистолетом! Парит наш орел!

В груди появился странный, особый холодок, словно воткнули в сердце тупую иглу... И Гореву вдруг представилось, что весь этот растревоженный улей пришёл в движение и ворвался, хлынул, как грязевой поток, к нему в купе. И он точно увидел самого себя – истоптанного, скрюченного, жалкого – сначала в вонючем тамбуре, а потом уже там, где мелькали телеграфные столбы, ельник, резкая чернота откосов... «Ну, ты, доктор Живаго, проснись! Прямо-таки „Дети, бегущие от грозы“ какие-то... Причём резво», – приходя в отчаяние от собственной мягкотелости, подумал Горев. И он, умиряя разыгравшееся воображение, встал, вытащил из-под сиденья дубинку и замер, тревожно прислушиваясь... Егоров не появлялся. А время застыло. Не было его в этом прокуренном вагоне. Потом враз всё сдвинулось, сбилось – и то, и это, всё...

В купе влетел капитан Рыжов. Влетел, пританцовывая. Взмокший, с дубинкой в руке.

– Ну, дурдом, сейчас начнётся, – хладнокровно сообщил

он, – но у нас ещё есть шанс! Ты не лезь, я сам! Меня они знают. Очень хорошо – с плохой стороны. Собаки...

И он бросился по вагону. Его голос был гулким, как шаги конвоя в коридорах тюрьмы, как шаги Командора...

– Молчать, шпана! – с весёлой злостью кричал он. – Ты? А может быть, ты! Кто хочет высказаться? Не вижу желающих... Педрилы несчастные!

И минут через десять, показавшихся вечностью, он снова оказался рядом с Горевым. Он притащил с собой Француза волоком... «Фамилия у него смешная, – вспомнил Горев, – Монзиков». Рыжов был страшен. Он, ухватив левой рукой Француза за шиворот, правой молотил того по печени. Француз бессмысленно улыбался, бормотал невнятное: «Бог – не фраер, начальник...» – и пытался голосить, как торговка базарная...

– На! – и Рыжов толкнул Француза к Гореву, – держи его, бей!

И он, сжавшись в тугой комок, двинулся вновь по вагону. Без тормозов... Горев поймал Француза, как подушку, – бросались, вот так же, когда-то в детстве – и встряхнув его, словно не по-настоящему всё, понарошку, ударил локтем по переносице. Француз завизжал, как поросёнок. И страх отступил. Он ударил ещё раз и ещё... И что-то заговорил, завыл... Первобытная ярость жгла его сердце, и душа замерла, онемела, таким холодом повеяло на неё – смертельным, арктическим – из бездны, о существовании которой он и не подо-

зревал в себе...

Голова Француза моталась, как неваляшка. Он был в отрубке, в состоянии грогги, и выпал в осадок... Остановил Горев всё тот же Рыжов.

– Всё, отбой, – лицо капитана расплывалось в какой-то блин, не разберёшь ничего. – А где Егоров, где это говно? Куда он делся? Да оставь ты его! Тоже мне – человек без комплексов, убьёшь ведь... На вот, выпей!

Горев бросил Француза, и тот, давно уже в отключке, рухнул на пол. А Рыжов, вытащив из-за пазухи пузырь водки, щедрой рукой налил Гореву целый стакан. Опустошение. Безоблачное молчание. Сияющие вершины. У Горева перехватило горло. Он вспомнил изумлённые глаза Монзикова. Пелена, пепел... Мальчик с собакой. Тихий снежок, острый коготок... Того айзера – в одном сапоге, на теплотрассе, вниз головой. Оступение, полный бред... «Не пропадай», – тихий свет маминой улыбки. За окном громыхал встречный, грохочущий мрак, почти истерика... Что же это, Боже? Шизуха... Всё говно, кроме мочи?.. И Горев, потирая разбитые в кровь костяшки пальцев, медленно потянулся к стакану. Монзиков валялся на полу, пуская кровавые пузыри... Тряпка, ветошка, ненужный хлам...

Сквозь мутную влагу и грязное стекло Гореву улыбался – ласково и понимающе – капитан Рыжов. Его глаза, две грязные лужицы, затянутые льдом, а там, на этом самом дне... «Что ж, каждый ангел ужасен», – словно током ударила,

опрокинула Горева совершенно безумная мысль. И он засмеялся, внезапно успокоившись и уже выискивая, чем бы таким ему закусить...

Горев открыл глаза. Сон, всего лишь сон... Сон ли после кошмара?.. А может – вместо него? За окном топорщился лес. Егоров читал газету. И было слышно, как там, среди хаоса разговоров, о чём-то твердит Француз, властно покрикивая на своих незадачливых собеседников... Оклемался, или?.. И откуда-то выплыл Глеб-финикиец, урод, из подсознания, и угнездилась в душе назойливая уверенность в бесконечности подобного рода преобразений.

ПОД ЗВУКИ ФЛЕЙТ И ТИМПАНОВ

Жизнь – это сплошное занудство.

Л. Селин

Поезд мотало из стороны в сторону. Под яростный лязг колёс – среди тьмы и безмолвия бескрайних равнин – навстречу хищному блеску кошачьих глаз пугливых полустанков. Трясло и крутило, как трясёт и крутит братишкину копилку малолетний шkodник, настойчиво пытаюсь вытрясти из неё радужную возможность взрослой жизни...

Того и гляди – в астрал вынесет. Но ничего. Внутри всё было тихо. Купейный вагон мирно посапывал, и неистовые демоны дорожных сновидений блаженствовали в мутной желтизне ночного освещения. Им никто не мешал. И они резвились, стараясь во всём походить на своих будущих жертв: беспрерывно сновали из угла в угол, весело шушукались в коридоре, безудержно дымили в тамбуре, с радостным цинизмом делясь впечатлениями о свойствах снов ничего не подозревавших пассажиров. В общем, демоны как демоны. Шалуны. Не в них дело... Гореву они не мешали. Его сны, как и его бессонница, были вне их прейскуранта. Всё у него было наоборот. И сны, и жизнь.

И вот теперь какое-то наваждение так и шаркало по душе, как пьяный отец семейства по грязному коврику перед на-

глухо закрытой дверью... Сладкий морок в реалистической манере. Сон-явь, сон-воспоминание. Что-то детское, такое родное и жалкое в своей наивной простоте. Это было тогда, когда Горева (сколько воды утекло) ещё звали Слоником, и он в вечно рваных штанишках носился по дворам со стайкой таких же огольцов, даже не подозревая о возможном (когда-либо) появлении Горева-большого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.